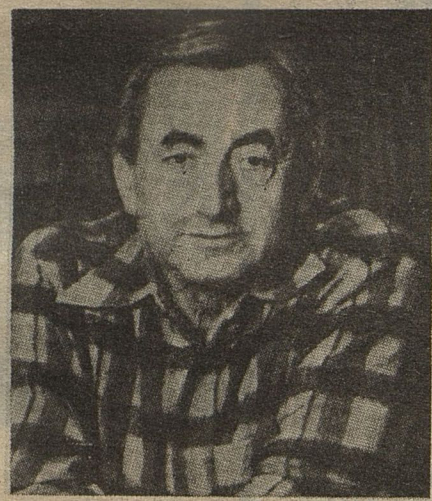




22.93.

Лунгин Семён Львович

Писателю, драматургу, сценаристу, воспитателю многих поколений влюбленных в него учеников, главе целого киноматографического рода — Семену Львовичу Лунгину исполнилось 75 лет. Среди прочего, что написано им (вместе с Ильей Нусиновым и потом, когда друга и соавтора не стало), есть сценарий мультфильма с примечательным названием «Я вспоминаю» — то есть «Амаркорд». Память — оборотная сторона страсти. У настоящего художника — у такого, кто пишет, что он слышит... не стараясь угодить — все замешано на этих двух вещах: на страсти и памяти. Попробуйте вспомнить тех, кому поклоняетесь в искусстве, — и убедитесь, что это так. Попробуйте вспомнить кино, в котором замешаны память и страсть Семена Лунгина. Вот это — только главное из прочего: «Мичман Панин», «Тучи над Борском», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».



«Внимание, черепаха!», «Агония», «Телеграмма», «Жил певчий дрозд», «Мальчик и лось», «Розыгрыш».

Сегодня, поздравляя Семена Львовича с днем рождения и желая ему не болеть, не уставать, мы приглашаем вас в самый что ни на есть личный его «Амаркорд». Знающим, что такое память и страсть, — добро пожаловать. Посторонним — вход воспрещен.

Была в свое время в Москве, на Остоженке, Бакунинская лечебница — частная больница, которую держали муж и жена, хирурги Бакунины. А мы жили поблизости, в Савельевском переулке, который почему-то тогда все называли Савёловский. Началось он брал на Остоженку, а потом резким склоном устремлялся вниз, к Москверке, и запутывался там во множестве дворов и проходных дворов, где жил всякий ремесленный люд: драпировщики, мебельщики, рамочники, старьевщики и владельцы прачечной — китайцы. Окна прачечной утопали в тротуаре и перед стеклами росла трава.

Иногда мы с няней гуляли не в сквере у Храма Христа Спасителя, а внизу, и обычно доходили до китайской прачечной, где в запотевших окнах мелькали жилистые темно-желтые руки из-под закатанных рукавов нижней сорочки, вцепившиеся в длинную рукоятку наполненного раскаленными угольями, многофунтового чугунного утюга. Неровная челка черных волос спускалась на лицо, закрывая его до подбородка. Эти жуткие черные лица и мосты, цвета палого листа руки, снились мне по ночам, и я просыпался, плача.

Внутри дворов этих маленьких домиков теснились садки, росли липы, сирень и жасмин. Громыхали по булыжнику кванье обода ломовых, на телегах вздрагивала раздрыганная мягкая мебель или матрасы с торчащими из прорех грязного полосатого тика стальными спиралями пружин.

— Отойди! — отчаянно кричала няня. — Еще подцепишь каку-нибудь гадость! И оттащивала меня за рукав.

Была там мастерская по ремонту кукол. Куклы с лысыми головами лежали поперек широкой скамьи и сушились на солнце. Они были все как одна, румяные, краснотелые, с синими

мушками на щеках. Потом на их лысые черепа наклеивали белые пудренные парики, увитые разноцветными ленточками, и получались Маркизы. Возле них мне стоить разрешалось, и я стоял и глядел до тех пор, пока из соседнего Зачатьевского монастыря не бахал колокол, и тучная няня, крестясь, вела меня домой, задыхаясь на крутом подъеме.

Зимой с этой горы катились на салазках и по воскресеньям собиралось по многу народу. Светило яркое солнце — тогда, помнится, почему-то всегда светило по зимам яркое солнце, сверкал белый снег — тогда в Москве всегда сверкал белый снег, а я сиротливо стоял наверху, у нашего подъезда, и не шевелился, потому что няня держала меня за кашне, крепко, на коротком поводке.

Наступала весна, и по Савельевскому переулку мчались ручьи и трезвоили словно колокольцы. Все кому не лень пускали кораблики и всякий плывущий мусор вроде корабликов, и не успевешь выпустить его из пальцев, как журчащая вода разом обрушивалась с ним в непостижимую глубину и... только его и видели.

Я давно заметил, что взрослые люди, несмотря на свою солидность и теплоту, как ни странно, тайно любят всякие детские забавы. Идет, эдак, некий почтенный господин с серьезным видом, уже в годах, и вдруг, заведя черную раскатанную ледяную дорожку, приостанавливается, начинает, будто ненароком, укорачивать шаг, подгадывая, какой ногой

Семен ЛУНГИН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

оттолкнуться, чтобы одолеть ее из конца в конец. Раз!.. и птицей летит по скользкому льду, потом воровато оглядывается по сторонам, не видел ли кто-либо его запоздалой шалости, и прячет в воротник довольную ухмылку, что не растянулся во весь рост на потеху прохожих.

Вот так и с корабликами. Мой дед, пожилой франт в шляпе пирожком и палкой с набалдашником из слоновьего клыка, в такие звенящие, капельные, весенние дни и бросал, норовя угодить в самую стремнину, окурки или там пустые папиросные коробки и пристально глядел сквозь пенсне, как они молниеносно обрушиваются вниз и пропадают навсегда во всеполюсочной пене, и глаза его становились печальными, вроде бы он загадывал, удастся ли ему доглядеть за палкой или окурком до конца или нет. Не удавалось. И дед печалился. Мне кажется, что я запомнил его, чуть ли не раньше всех из моей родни.

Я родился в Серпухове, где, по окончании Высших женских курсов, работала врачом моя мама на эпидемии сыпняка. А мой отец служил в Управлении Серпуховской мануфактуры. Там они и познакомились и поженились. Это не было для деда желанным замужеством его старшей дочери, хотя тогда ее были на пределе. Отец ему решительно не нравился. И то, что он родом из Минска, из семьи мясника. И то, что он к тому году еще не закончил университета. И служил в непрестижной конторе неизвестно кем. Семья же деда была из Гродно, сам он vyrabotalся в везучего подрядчика, получил право жительства за чертой оседлости и человеком был вполне состоятельным. А про отца он презрительно бросал: «Еврей со стоптанными каблучками». Дед вроде бы и не замечал, как быстро ботинки отца стали похуже дедовских, как костюмы он стал шить у знаменитого в те годы Чермака с Кречетниковского переулка, и телеграфный адрес на отцовских фирменных конвертах выглядел так: «Москва, Лунгину».

— Европа, Ротшильд, — ерничал дед.

Но, видно, все это его и злило, и вызывало зависть, и он толком не понимал, что же это с отцом происходит. А сезонный абонемент в ложу бенуара в Большом театре довел деда до иступления.

И так как я веснушками, лопоухостью и большим носом своим походил на отцовскую родню, то отсвечивать не

приязни падали и на меня до самой дедовой смерти.

В Серпухове голод двадцатого года ощущался куда более безнадежным, чем в Москве, а у деда были и деньги и большая квартира, мамой моей он гордился — Высшие женские курсы! — и он решил вызвать нас в Москву. Мама тогда не предполагала, что отношения деда с отцом станут такими натянутыми, и вот, не успело мне сравниться три месяца от роду, как мы вчетвером, мама, папа, няня и я, заявили на пятый этаж доходного дома в Савельевском переулке, что на Остоженку.

Все это я, в общем-то, знаю с чужих слов, а вот что я помню сам. Я плавно плыву в густой темноте, и вдруг где-то там вдалеке появляется оранжевое пятнышко, оно живет своей жизнью, взлетает, опускается, увеличивается, становится сверкающе-желтым, потом темнеет, пригаснув, вот оно уже исчерна-оранжевое, словно отяжелело, падает вниз, миг, и, снова взлетев, вспыхивает слепящим ярко-золотым ободом.

Мне становится жутко и я ору как зарезанный. И сквозь мой захлебывающийся вопль пробиваются грозные громовые раскаты дедова голоса, от которых согрогаются няня. Рука ее, на которой я лежу, вздрагивает, и она, оробев, издает какую-то череду звуков, которую я потом слышал от нее миллион раз: «Здрасьте, барин».

Как многие годы спустя выяснилось, няня несла меня по темному коридору к кухне, а навстречу шел дед

и... курил папиросу. Потом все будут говорить, что это моя выдумка, что не может же трехмесячный младенец заметить и запомнить такие вещи. Но я-то твердо знаю, что и увидел, и запомнил, и няня утверждала, что я зоркий, как оглащенный, услышав дедову матерщину, когда он неожиданно наткнулся на нас в темноте.

Я помню, что в детской, где мы жили с няней, была печка с кафельной лежанкой, которую зимой топили и куда кляли меня для обогрева, когда приносили с мороза домой. Эта самая лежанка связана в моей памяти с одним событием, которое угнетало меня много лет спустя, да и сейчас, когда я пишу, у меня вдруг приостанавливается сердце. Думаю, что мне тогда было года четыре или чуть больше. Да, пожалуй, это было до аппендицита.

В дедову квартиру из Бессарабии приехал с женой и толстым мальчиком вдвое старше меня брат мамы, мой дядя. Они приехали как и мы — жить в Москве. Жена дяди была еще вполне молодая женщина, но совершенно седая, как лунь. Белейшие, отливающие металлом волосы тяжелой косой висели до поясницы, а когда она их расчесывала, то голова ее оказывалась в плотном серебряном коконе, и не было видно ни цепких глаз, ни всегда влажных губ, ни чуть нарумяненных щек. Она была красавица и все ею восхищались. Все, кроме няни и бабушки.

— Эй же росту прибавить, — с осуждением говорила няня, — елозит, как на карачках.

А бабушка подхватывала, брезгливо морщась:

— Цыганка-молдаванка. И что это он ее сюда привез, эту табурную? По моему, она у меня стащила пасьянсные карты.

Когда бабушка однажды заговорила об этих пасьянсных картах при деде, он взвился, словно ужаленный змеей, — он бывал бешеным, когда вот так взвизывал, и зорал, как всегда, с кем и ни с чем не сообразуясь. Как я потом понял, он, видимо, ругался, употреблял самые площадные слова, что так не шло к его крахмальному воротничку, золотой цепочке на жилете и галстуку, заколотому жемчужной булавкой.

— Боже! Боже мой, — всхлинула бабушка, задрожав и втискивая лицо в ладони. — Уши вянут! Ступай хулиганить на конюшню! Постыдись детей.

Но дед разошелся, спасу нет. Нянька схватила меня в охапку и уволокла в детскую.

Бабушка никогда не называла деда по имени. «Павел» казался ей оскорбительно грубым. И в письмах, которые она исправно писала, когда дед уезжал по делам или в Кисловодск, она обращалась к нему не иначе как «Дорогой Фабян».

Так вот, что случилось как будто на маслянице или в какой-то другой большой праздник, потому что няни не было — она, видно, ушла к ранней обедне. Я еще лежал в кровати, но не спал, а думал. Я и до сих пор люблю полупроснувшись, в какой-то полуяви, полудреме, перебирать в голове всякую всячину, о которой, как правило, забываешь, едва вскочишь на ноги.

Вдруг дверь скрипнула и приоткрылась. Я скосил глаза и чуть приподнял голову. В щель протиснулся дед, он был скор и суетлив, совсем не по своей ширококостной комплекции. Ручкой он что-то придерживал за дверью. Потом вытиснул. Оказалось, мою новую бессарабскую тетку. Она шустро прыгнула в детскую, прислонилась к дверному косяку, уперлась в него затылком и, казалось, перестала дышать, закатив глаза. Дед шмыгнул глазом по сторонам и, все не выпуская тетку, поволол ее к лежанке. Тетка поднылась на цыпочках и опрокинулась навзничь, прямо на стопку выглаженного нательного белья. Капот ее был распахнут, и когда она рывком подняла толстые свои колени

и впились пятками в край беленого кирпичика, две круглые лоснящиеся на свету вершины, чуть перекрывая одна другую, возвысились на фоне голубоватого с синим кантиком кафеля, словно два белых купола Эльбруса. И в лошину между ними рухнул мой дед и пропал из глаз, а тетка тихонько заверещала: «И-и-и-и».

Тут дед каким-то чужим голосом сдавленно закричал как мясник, когда разрубает тушу: «Кха! Кха!» «И-и-и» — тонким мышиным писком отозвалась тетка «Кха! Кха!» — рывал дед. «И-и-и-и!» Заработала смешная машина.

Сторая от любопытства, я, не таясь, поднял голову. Но, к счастью, меня не заметили. Потом они разом вскочили на ноги, отряхнулись как курицы, и скрылись за дверью, сперва тетка, а потом дед, с непредположимым проворством. Он закурил и вышел с гордой поднятой головой. А меня бил какой-то страшный жуткий колотун. И с тех пор, когда бы я не видел вершины Эльбруса, в натуре ли или на фотографии, я всегда мысленно погружаюсь в ту давнюю историю и стыдный озноб продирает по спине.

В те времена врачи только в крайнем случае лечили близких — видно, какой-то суеверный смысл вкладывали они в этот процесс. Когда я заболел, а болел я часто, — звонили маминю товарке по Высшим курсам, и вскоре она прикатывала со своей трубочкой, выточенной из карельской березы. Она долго, старательно протирала широкий растреп стетоскопа ладошкой, грела, чтобы я не дергался от его холодных прикосновений, когда она станет меня выслушивать. Вокруг кровати стояли мама, няня и дед. Что уж его заинтересовало — не знаю, но он стоял и ждал, как все. Выслушав, докторша принялась мять живот. Это было нестерпимо больно.

— Аппендикс под вопросом, — сказала она.

— Господи Иисусе Христе, а сыне Божие, помилуй нас грешных! — бормотала няня, истово крестясь.

Дед невнятно матюнулся и гневно взглянул на мамину подругу:

— Так мять брюхо — здоровый бык заорет.

Докторша метнула на него взгляд, исполненный отвращения, и позвонила в Бакунинскую лечебницу. Она долго говорила, пересылая понятную речь латынью. Через несколько ми-

нут — ведь лечебница по соседству с нами — пришла мадам Бакунина — худая дама в профессорской шапочке, прислушалась к моим воплям, ткнула колючим двуперстием в пах и прокаркала по-французски:

— Ne prenez pas le temps, emmenez-le chez moi.

Няня взяла меня на руки, перекрестила, и я очутился в операционной, где нас уже ждал сам профессор Бакунин. А мадам Бакуниной принесли какой-то кулек то ли из плотной бумаги, то ли из накрахмаленной ваты, и она накрыла им мой нос и рот. Задыхнувшись, я завозился, как змея, но тут в глотке рывок лопнула какая-то пленка, внутри меня хлынул ледяной воздух, и я впал в беспамятство.

Здание Бакунинской лечебницы строили, видимо, для жилья на одну самостоятельную семью. Коридоров не было. Комнаты шли за комнатами, разделенные арочками, облицованными темным деревом. Драпировки в арочках были запахнуты. В комнате стояли несколько кроватей, да не в ряд, а так, по-разному. Это лихало палату лазаретного духа. Возле меня лежал длинновязый, стриженный под «0» мальчик, похожий на гимназиста из «Не ждали». Все это я рассмотрел уже после того, как очнулся. Видно, особо больно мне не было, потому что тело не запомнило боли, но зато на тумбочке у кровати стоял пузырек с притертой пробкой, и там в прозрачной жидкости плавал какой-то желтый червячок.

— Видишь, — сказал мне на об-

ноту человечеству, то станет ясно, что дружбы между нами не возникло.

— Я же не прячу от вас свой отрокот, — миролюбиво нахмурился я, поднимая склянку с отрезанным аппендиксом. — Глядите сколько вашей душещекотно.

— Идите вы к чертовой матери со своим отрокотом! — рывнул он мне через плечо, торопливо одевая свою девицу в желтый капот с черными летучими мышами, закрывающими и раскнутые розовые сощсы и лонное место.

На другой день меня должны были забирать домой и к вечеру забрали. Но в первой половине дня произошло событие, оставшее по себе память на всю мою жизнь. Оказывается, в те же дни, что и я, в лечебнице Бакунина лежал Патриарх Тихон. Болезнь не отступала от него, и он решил объехать московские церкви с прощальным назданием и благословением. Для того, чтобы пройти из его палаты к выходу, надо было миновать несколько комнат, в том числе и ту, где мы лежали.

И вот занавес в арке откинулся и на пороге появился прозрачно-бледный старик с удивительно глубокими глазами. Мне кажется сейчас, что он был в очках, отчего зрачки его премного увеличивались. Он вошел, опираясь на высокий посох, в шапочке со сверкающим серафимом над строго сведенными

ходе профессор. — Мы тебе отсекали совсем здоровый прекрасный аппендикс. Я даже подумал: убирать его или зашить в живот. И решил: а на кой ляд он ему сдался? Вот любуйся теперь!

Этот пузырек долго хранился у нас дома. Когда мы переехали в Большой Новинский переулок, его тоже взяли с собой, и он стоял на полочке в ванной комнате, пока кто-то ненароком не столкнул его. Пузырек разбился вдребезги, спирт из него разлился по кафельному полу, и жалкий кусочек моей плоти сиротливо валялся среди стеклянных осколков. А вокруг ходила наша кошка и порочно принюхивалась к запаху спирта.

Мальчик, мой сосед по кровати, оказался вовсе не мальчиком, а молодым человеком, который потребовал, чтобы я звал его по имени и отчеству, Василием Васильевичем. Он целые дни кряду упорно срисовывал с модных журналов женские фигуры в этаких искусственных позитурках. Сперва он тонким штрихом очерчивал нагие тела, а потом, наславившись их видом, одевал красавиц в туалеты нежных пастельных цветов. Он был развратником, этот юный копист модных картинок, Василий Васильевич. Мне, видно, чтобы блости мою невинность, он показывал уже одетые модели, и, пока творил трепещу, причмокивая губами, шепча что-то страстное, он отворачивался от меня и перекрывал предположимую зону видимости дергающимся колючим плечом. Но я все-таки как-то изловчился и бросил пылкий взгляд на его труды — он как раз встал, торопясь, чтобы попользоваться «уткой». На просторном альбомном листе была изображена обнаженная барышня с осиной талией, раскинутыми в стороны сосцами и четким треугольником в подбрюшье с какими-то мелкими деталями красного цвета. Как он смутился, заметив, что я по-человечески выткнув шею, впился глазами в его творенье!

— За такую неадекватность, молодой человек, в доброе старое время были по ценам шлепанцами, — гневно сказал он, играя желвачками под тонкой кожей скулы. — Или вашей нации неизвестно, что любопытным в сортире носы прищемляют?!

И если учесть, что «молодому человеку особой нации», то есть мне, было пять с небольшим, да и сам Василий Васильевич жил в «добром старом времени» примерно столько же, пока не грянул Великий Октябрь, принесший счастье всему прогрессив-

ми бровями. Белая парча его одежды в нашей затененной комнате создавала впечатление, что от Патриарха исходит свечение. Рукоятка посоха тоже сверкала. В шаге от него, чуть подерживая под локоть, шел рослый монах, которому он, войдя, и передал свой посох. А сам Патриарх, шагнув на середину палаты, произнес какую-то фразу, непривычные слова были сказаны тихим голосом, и я их не слышал. Он двумя руками, каким-то особым движением, разом перекрестил всех, находящихся в комнате, потом подошел с благословением к каждому, и все целовали его руку с благоговением, отчетливо понимая значительность этого мига.

Мне он тоже протянул свою прохладную невесомую кисть, и я, в каком-то испуге, коснулся губами сухой пергаментной ксжи. Патриарх серьезно взглянул на меня, и тут я почувствовал, что взгляд этот посвящен мне, мне одному и никому другому, что другим, наверно, тоже будут подарены другие взгляды, их взгляды, а вот этот — мой, исключительно и только мой, и он, этот взгляд, отметил меня, пожелавший в моей душе, и я сохранил легчайшее его прикосновение на всю жизнь.

Я пишу это и помню, помню, как словно легкий ветерок проник в мое нутро этот взгляд. Знающие люди говорили, что он был редкостного благородства, смелости и силы духа, этот облаченный в парчу старец.

— Ангельская душа!

Когда Патриарх Тихон вышел из нашей палаты, мы все бросились к окнам и видели, как он появился на улице, как сел в пролетку. Тьма народа ждала его у подезда. Старик перекрестил их всех, и кучер тронул. Говорят, он объехал все множество московских церквей. Тогда их было множество. Сказал духовенству все, что хотел сказать, и изнуренный вернулся домой. А ночью он умер.

Я помню все это с такой ясностью, словно это случилось вчера.

О, избирательная память, а как много ты отвергаешь!